ИЗ ЛЮДЕЙ первой величины, так или иначе погибших, так или иначе изъятых из русской действительности после 17-го года, в двадцатые годы, смерть Александра Блока является самой необъяснимой, точнее сказать, самой необъясненной.

Гумилева нашли повод арестовать, расстреляли и объяснили расстрел тем, что Гумилев якобы участвовал в контрреволюционном заговоре Таганцева. Есенина убили и создали «оригинальную» версию, что он повесился. Маяковский застрелился, хотя нет-нет да и возникают робкие версии, что он, мол, не сам... Как бы то ни было, причина смерти ясна: пуля в сердце. Но Блок?

Ни диагноза болезни, ни медицинского заключения о смерти великого поэта, ни вскрытия. Сорокалетний человек в три месяца истаял и умер. Рак? Тиф? Цирроз печени? Гепатит? Воспаление легких? Склероз почек (как, скажем, у Михаила Булгакова)? Туберкулез (как у Чехова)? Инсульт? Инфаркт? Ничего ничуть не было.

Коз-где, кое-когда шелестит версия, что великий поэт умер голодной смертью. Теоретически могло быть, но практически мало вероятно. Жили же в это время другие писатели, поэты в Петрограде. Та же Ахматова, Корней Чуковский, Сергей Городецкий, Всеволод Родественский, Евгений Книпович, оперная певица Любовь Александровна Дельмас, встречавшаяся с Блоком, многие другие. Не поумирали же они с голоду. Да что посторонние люди? Любовь Дмитриевна, жена... Жили вместе, жили-ели, что Бог даст, но — вместе. Не объедала же она своего мужа, однако и с голоду не умерла.

Кроме того, в описаниях очевидцев, видевших больного Блока, все время речь идет о болях, сопроизводящих болезнь, о задыханиях, о нервном состоянии. «Страдания его так ужасны, что стоны и вскрики слышны на улице». Нет, с голоду так не умирают. Вернее, с голоду умирают не так. Вон, в 1933 году, во время голода в Поволжье, дедушка Михаила Николаевича Алексева, чтобы не быть лишним ротом среди детей и внуков и не «объедать» их, лег на печке и перестал есть. И постепенно тихо угас, без мучений.

Однажды, еще в семидесятые годы, я написал стихотворение «Три поэта». Там были такие слова:

*Их было трое. В кругу этом узком
Звучал недолго благоселный стих.
Блок улет первым, ибо самым русским
И самым честным был он из троих.*

*Он умер не от тифа, не от раны
(Небрит, прозрачен, впады виски),
Но оттого, что понял слишком рано...
Сказать точнее, просто от тоски.*

Это, конечно, не более чем поэтическая версия. Ее в медицинское заключение о смерти не запишешь. Более того, когда я разговаривал об этом с блоковедами (со Ст. Лесневским, в частности), то Станислав категорически утверждал, что Блок в свое последнее полугодие с огромным упорством боролся за жизнь, пытался «вырваться из бездны». Он работает над речью о Пушкине, возвращается к поэме «Возмездие» и продолжает ее, а вовсе не лежит в тоске в ожидании смерти. Не он искал смерти, а смерть нашла его. Правда, из воспоминаний современников явствует, что Блок иногда высказывал мысли о смерти. Кому-то он прямо сказал, что очень хотел бы умереть. Что ж, действительность была такова, что и в самом деле лучше бы содохнуть. Но все же от высказывания о смерти до самой смерти очень и очень далеко. По слову: сколь бы ни говорить слово «сахар», во рту сладко не станет.

Первый приступ болезни произошел в мае. Но что за приступ? Головокружение, обморок, рвота? Боль в сердце? Головная боль? Сколько я ни пытался это узнать, никто ничего не знает. (Великолепный знаток Блока профессор Андрей Леопольдович Гришунин где-то раскопал, что был еще, так сказать, предварительный кратковременный приступ в январе. Большая слабость и ощущение холода.) В мае Блок еще ездил в Москву, где были организованы его вечера. По возвращении приступ повторился, и Блок уже не воспрянул, он слег в постель. Своей матери он напишет: «Делать я ничего не могу... все болит, трудно дышать...» Сестра матери М. А. Бекетова сообщает «Большой был очень слаб... голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться». Евгения Федоровна Книпович вторит Бекетовой: «Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался».

Добросовестный и целеустремленный литературовед и публицист Вл. Радзишевский, статья которого из «Литературной газеты» (28.8.91 г.) мы пользуемся, делая эти выписки, заключает в духе моих стихотворных строк: «Его... убило «отсутствие воздуха». У меня — от тоски, у Радзишевского — от не менее символического «отсутствия воздуха». Ну а все-таки что же это было? «Сейчас у меня ни души, ни тела нет, — жаловался Блок, — я болен, как не был никогда еще...». Доктор А. Г. Пекелис, пользовавший Блока, предложил немедленно увезти больного за границу.

Но все же, если был врач, значит, он мог поставить диагноз. Или уж настолько загадочной и небывалой оказалась болезнь?

В СВОЕ ВРЕМЯ я разговаривал об этом с академиком медицины, главным хирургом института имени Склифосовского, профессором (естественно), с которым нас влекло судеб связывали дружеские, можно сказать, отношения. Разговорился я с Борисом Александровичем Петровым у «Троице-Сергия», за хорошим (патриаршим) застольем. Рассказал ему все, что знал о болезни Блока, и напрямую спросил: что это была за болезнь? Борис Петрович, совершивший сотни (или тысячи?) раковых полостных операций, со всей своей прямой рубанул. Может, он в те застойные времена и поостерегся бы рубануть, если бы времена не были к тому же застойными. В том доме, где мы находились, любили и умели угощать, да и обстановка сама (Лавра!) отвлекала от суровой действительности развитого и зрелого социализма, и Борис Александрович рубанул: «Не знаю, что думают ваши литературоведы. Больше всего это похоже на яд. Его отравили».

Вл. Радзишевский назвал свою статью о болезни и смерти Блока «Канцелярское убийство», не сделав, однако, последнего, решительного вывода. Но и без этого вывода описание В. Радзишевским канцелярской волохиты, связанной с больным Блоком, неожиданным образом накладывается на западный и заочный диагноз, высказанный опытейшим медицинским академиком.

В самом деле. После заключения доктора о немедленном увозе Блока за границу, жена поэта кинулась к Горькому. Горький обратился к Луначарскому, чтобы тот в спешном порядке выхлопотал выезд Блока в Финляндию. Это свое письмо Горький просил передать Ленину. Но письмо осталось без какого-либо ответа. 18 июня около постели больного собрался консилиум. Доктора сошлись во мнениях, что больного нужно поместить «в одну из хорошо оборудованных со специальными методами для лечения сердечных больных санаторий». Доктор Троицкий в частном письме «указал на» необходимость заграничной поездки, за неимением благоустроенных санаторий в России.

Весь консилиум от такой рекомендации почему-то остерегся. Любовь Дмитриевна снова обратилась к Горькому с мольбой о помощи. Горький сам поехал в Москву и уже не письмом, а лично, с заключением консилиума в руках, обратился к Владимиру Ильичу. Ильич дал понять, что он этот вопрос решить не может, что этот вопрос будет решать Политбюро ЦК РКП (б), а документы отправил на Лубянку к Менжинскому. Менжинский (цитирую Вл. Радзишевского): «...документы на выезд в Финляндию притормозил». Он тянул время. Он знал, чем на самом деле «болен» Блок, знал, вероятно, когда все это должно кончиться, и тянул время. Время тянул и дорогой Владимир Ильич. Напрасно Горький и Луначарский подталкивали его: «Просим ЦК повлиять на т. Менжинского в благоприятном для Блока смысле».

Вл. Радзишевский («ЛГ», 28.8.91): «Напрасно было бы ожидать, что, получив это письмо, председатель Совнаркома тут же устроит выволочку т. Менжинскому, а еще раньше запросит справку в Наркомздраве: не лучше ли, допустим, будут для Блока условия в Германии или Италии? Увы, Ленина занимало другое: есть ли гарантии, что за границей Блок сохранит свою лояльность к большевистскому режиму... Поэтому совсем не в Наркомздрав отсылает Ленин письмо Луначарского, а... в Чека: «Товз, Менжинский! — приписывает он от себя. — Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом».

Если вспомнить, что в эти самые дни, а точнее — 3 августа 1921 года, из Петербурга в эмиграцию выехал поэт Ходасевич и почему-то Ленина не заболело, сохранит ли Ходасевич в эмиграции лояльность к большевикам, если вспомнить, что лишь годом позже в эмиграцию выехали с позволения Владимира Ильича более двадцати крупнейших профессоров, философов, в том числе Бердяев, Сергей Булгаков, Лосский, Франк, то забота о лояльности полуживого Блока кажется странной.